

Ольга Табачникова

Ничейная земля: литературоведение в эпоху пост-модернизма

Фундаментальная проблема определения места литературоведения на карте человеческого знания стара, но как никогда насущна. В данной статье предлагаются краткие размышления на эту тему, как результат абстрактного взгляда со стороны, без претензии на исчерпывающий охват или на особую глубину. Наша цель – прояснить существующее положение вещей (со всей его остротой и непримиримостью разнополюсных мнений), без чего, как представляется автору, невозможно говорить о продвижении вперед. В известном смысле, эти размышления не приговор и не диагноз, а скорее – приглашение к дискуссии.

Для начала вспомним, как Бертран Рассел определял философию. Существуют области знания, говорил он, принадлежащие сфере науки с одной стороны и веры (или откровения) с другой. Между ними же находится ничейная земля, которая и называется философией. То есть, огрубляя, философия лежит на стыке изучаемого разумом и постигаемого чувством. Накопленные человечеством религиозно-этические концепции сосуществуют в ней с теми, что добыты с помощью научного метода. В зависимости от пропорций того и другого, на этой шкале можно разместить любого философа.¹

Нечто похожее наблюдается и в более широком контексте. А именно, наряду с естественными науками существуют дисциплины, называемые науками гуманитарными. Основное отличие последних от первых – это объект исследования, который, по сути, определяет и все остальные различия. Действительно, если для естественных наук таким объектом служит реальный мир, существующий по своим, не человеком положенным законам, постигаемым эмпирически, то в гуманитарной области объектом изучения является искусство, то есть, нечто глубоко субъективное. Так в литературоведении объект изучения – литература: продукт работы человека с языком. И если об объективной реальности языка ещё можно спорить (и такие споры – о божественной или человеческой его природе – действительно ведутся),² то литература, или во всяком случае то, что мы вкладываем в это понятие, говоря о настоящей литературе в отличие от так называемого чтения) исключительно субъективна, даже на уровне определения, как видно из только что сделанной оговорки. Метафорически выражаясь, «только движение души достойно слова».³ И если, следуя дорогой формализма, можно пытаться измерить всевозможные характеристики этого (литературного) продукта, то как измерить движение души? Возгонка

¹ Bertrand Russell, *History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day* (London: George Allen & Unwin Ltd, 1961), p. 13.

² Дискуссию на эту тему, включающую и ссылки на соответствующие источники, см., например, в главе первой («Язык иррационализма?»), посвященной русскому языку, в монографии Olga Tabachnikova, *Russian Irrationalism from Pushkin to Brodsky. Seven Essays in Literature and Thought* (Bloomsbury Academic, 2015), в особенности стр. 32-36. Кратко говоря, мы имеем дело в том числе и с теориями структуралистов о том, что реальность является продуктом языка как частным случаем более широкого контекста классической идеалистической доктрины, утверждающей, что мир есть лишь продукт нашего воображения. В более конкретном ключе, мистическо-идеалистический подход к языку заключен в учениях о том, что языком определяется наш образ жизни (Иоганн Георг Гаман) и стиль мышления (теория Уорфа-Сапира), вплоть до понимания языка как Божественного начала (Иосиф Бродский, эссе памяти Уистена Хью Одена). Подобные трактовки противостоят материалистическому подходу, понимающему язык, в частности, как первичную моделирующую систему.

³ Этот афоризм, звучащий как народная мудрость, на самом деле принадлежит перу Фазиля Искандера. См. его посвящение Сергею Довлатову: <http://www.sergeydovlatov.ru/?cnt=1> (12.04.2015).

иррационального элемента, присущего искусству, в рациональные рамки научного метода представляется проблематичной.

Более того, научное познание интересуется не случайностью, а закономерностью (и даже в случайном ищет закономерное – так родилась, например, теория вероятности). Поэтому оно с необходимостью огрубляет (то есть, идеализирует) объект – чтобы выявить лишь те параметры, которые ответственны за проявление закономерности. Остальными, несущественными для данного явления параметрами пренебрегают. Это позволяет построить теоретическую модель, поддающуюся анализу и алгоритмизации и дающую возможность рассуждать о целой группе подобных объектов. В частности это позволяет прогнозировать их поведение. Очевидно, что без таких огрублений научное познание не может двигаться вперед.

Таким образом, как только литературоведение объявляется наукой, оно с необходимостью перестает заниматься частностями – вернее, частности интересуют его только постольку, поскольку поддаются обобщению. Как писал Алексей Цветков, описывая пресловутый конфликт Якобсона и Набокова как конфликт зоолога и слона, субъекта и объекта: «Для Якобсона внутренность одного произведения бесполезна, для него существеннее общие элементы множества таких произведений. Точно так же, как Ньютон усматривал общность в падении яблока и движении небесных тел, «филологу» важно выделить наиболее фундаментальные элементы литературы, понять и определить, каким образом Данте и Алексей Сурков принадлежат к одному и тому же цеху. Набоков, конечно же, возразит, что не принадлежат – углы зрения зоолога и слона не пересекаются». ⁴ В этом же ключе Цветков замечает, что Набоков, в отличие от Якобсона, «был равнодушен к идее и принципу гонимого дела – его занимали конкретные горшки». ⁵ А значит, «для того, чтобы литературоведение стало наукой и постигло механизмы литературного творчества, следовало вынести субъективное качество за скобки. [...] В конечном счете – замечает Цветков – его выставили за дверь». ⁶

Думается, именно против этого выставления за дверь выступал ещё один представитель русской словесности – Юрий Карабчиевский – когда утверждал, что филология (под которой в данном контексте понимается как раз литературоведение) «убедительна лишь в той степени, в какой сама является литературой». ⁷ И дело здесь не столько в том, что, как написал Владислав Ходасевич соредктору журнала «Современные записки» Вишняку, посетив философское заседание в салоне Мережковских «Зеленая лампа» в Париже: «Одно хорошее стихотворение нужнее и Господу угоднее, чем 365 (или 366) заседаний Зеленой Лампы», ⁸ а скорее в том, что для Карабчиевского субъективное начало филологии было не просто бесспорным, а единственно ценным, и следовательно попытки пренебречь (субъективной) художественной ценностью произведения в пользу его «объективных» параметров должны были казаться ему нелепыми. Ибо чем иначе объяснить утверждение Карабчиевского о том, что в филологии «любое высказанное в ней положение может быть заменено на противоположное с той же мерой надежности и достоверности». ⁹ Таким образом, Карабчиевский радикально отказывал литературоведению в категории научности, и значит автоматически оказывался в лагере противоположном формалистам

⁴ Алексей Цветков, «Империя лжи», *Октябрь*, No 2, 2002.
<<http://magazines.russ.ru/october/2002/2/cv.html>> (28.04.2015)

⁵ Там же.

⁶ Там же.

⁷ Юрий Карабчиевский, «Послесловие автора», *Воскресение Маяковского*
<<http://www.lib.ru/POEZIQ/MAYAKOWSKIJ/karabchievsky.txt>> (29.03.2015) (Ср. издание: Москва: «Советский писатель», 1990, с. 217-218. Первое изд., без «Послесловия»: Мюнхен: «Страна и мир», 1985).

⁸ Владислав Ходасевич, письмо Вишняку, 1928 г. Цитируется по книге Алексея Зверева «Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920-1940», Москва: «Молодая гвардия», 2003. См. главу 4: http://www.plam.ru/literat/povsednevnaia_zhizn_russkogo_literaturnogo_parizha_1920_1940/p4.php (12.05.2015).

⁹ Карабчиевский, «Послесловие автора».

и их последователям – для которых «научный метод возобладал над эстетическим эффектом»,¹⁰ а литературный вкус, по едкому замечанию Цветкова, стал и вовсе противопоказан (в отличие от критиков-эссеистов, обязанных иметь художественный вкус «по долгу службы»).

Действительно, при попытке «объективизировать» изящную словесность, литературное произведение «превращается в «текст», и подчинение текста методу куда важнее, чем его эфемерные художественные качества. [...] Художественность, то есть индивидуальность, исключена из поля зрения сегодняшних филологов, потому что геометру безразличны цвет или запах треугольника».¹¹

В каком-то смысле ситуация оказывается обратной той, что сложилась в теориях философво-иррационалистов, например Льва Шестова, которому страстно хотелось, чтобы наука занималась частным, а не общим. В литературоведении же последователи формалистов (в широком смысле) наоборот стремятся к тому, чтобы оно занималось общим, а не частным.¹² Шестов, очевидно имеющий (несмотря на начальное математическое образование) весьма отдаленное представление о природе научного познания, вменял в вину науке именно общий характер её построений, пренебрегающий частностями. В том числе (и в первую очередь), как представлялось ему, пренебрегающий человеком – как пылинкой и частностью мироздания. Шестову казалось неприемлемым, что когда из стены вываливается кирпич и, падая, убивает человека, то при объяснении этого явления речь идет о возрасте цемента, о составе кирпича, о физике и химии – но только не о том, что погибло живое человеческое существо.¹³

Аналогичным (хотя и обратным) образом, для адресатов цветковского сарказма необходимым является разработка и неукоснительное следование некоему научному аппарату, который призван найти общий знаменатель литературы как таковой. И это сильно напоминает ситуацию эпохи Просвещения, которая уповала на выведение формулы всеобщего счастья; уравнения, которое бы разрешило все противоречия человечества. Утопия эта жила надеждой, что наша вселенная может быть описана конечным числом постулатов, из которых, при наличии начальных условий, в принципе выводимы прогнозы её поведения. Однако математическая логика положила конец подобным надеждам, когда в 30-х годах прошлого столетия Курт Гёдель доказал, что любая достаточно нетривиальная система является по сути непознаваемой.¹⁴

Но помимо сложности мироздания есть ещё и более глубокие соображения против самой идеи Просвещения – которая при всём благородстве своих намерений стремилась, как замечает Сергей

¹⁰ Цветков, «Империя лжи».

¹¹ Там же.

¹² Во избежание недоразумений, отметим, что под этим не имеется в виду, что иссякает внимание к личностной составляющей литературы. Напротив, эта линия успешно развивалась, как видно и из популярности бахтинского подхода, и из расцвета семиотической школы, и из широкомасштабного интереса к литературно-критическому наследию Серебряного века, и из постструктуралистских исследований, ориентированных, в частности, на типы сознания (как, например, в анализе дискурсных формаций Валерия Тюпы). Речь не об этом – не о потере интереса к частному, индивидуальному, личностному, а о стремлении применить объективный, общий (научный!) метод к субъективной (художественной) составляющей самой литературы.

¹³ См. Лев Шестов, «Шекспир и его критик Брандес», Санкт-Петербург: изд-во Менделевича, 1898.

¹⁴ В этом контексте под познаваемой системой понимается такая, которую можно полностью описать с помощью набора аксиом и правил манипуляции ими. То есть, любое утверждение в этой системе может быть выведено из аксиом путём применения правил. Однако, по Гёделю, всегда существует такое утверждение, которым можно дополнить существующие аксиомы (определяющие всю систему) так, что ничего при этом не поменяется. То есть, ни это утверждение, ни его отрицание не выводимы из данного множества аксиом путём применения данных правил. Это означает, что система непознаваема, и это справедливо для любой достаточно нетривиальной системы. К последним принадлежит даже относительно несложная формальная теория арифметики. Так что же тогда говорить о системах, связанных с человеческой психикой и её производными?

Аверинцев, отделить человечество от страдания – то есть (пагубно) видоизменить саму природу человеческой души, для которой страдание составляет неотъемлемую часть.¹⁵

В каком-то смысле аналогично, отделив текст от автора, объект от субъекта, отвернувшись от вкусовой субъективности в сторону формальных признаков, а, главное, укрывшись с головой вуалью научности, литературовед оказывается стоящим над препарированной тушкой мертвой литературы, и мертвая чайка не взлетает. И хотя, бесспорно, знание о мертвой чайке является полезным и необходимым, но все-таки литература – это прежде всего чайка летящая...

А поскольку литературу так или иначе занимает первостепенный вопрос о человеке, о его судьбе и путях, то и литературоведение таким образом оказывается опосредованно вовлеченным в круг вопросов, касающихся правды о человеке, и, хочешь-не хочешь, но в этом оно неукоснительно пересекается с литературной критикой, попадая в области религиозно-этические – в отличие от «точных» наук, которые, как справедливо отмечал ещё Гёте, ничего не привносят в нравственную сферу.¹⁶

И тем не менее, вопреки сказанному, попытки привить научный метод литературной критике, победа формализма над биографизмом, развитие его в структурализм и семиотику принесли свои бесспорные плоды. На том конце литературоведения, где господствовал научный анализ, а не интуиция и откровение, было сделано немало волнующих открытий и написано немало блестящих работ. Родились идеи и обобщения, способствующие приращению смысла, приоткрывающие некую объективную правду о литературе. Но вышеупомянутые непреодолимые проблемы примирения субъективности и объективности, неизбежные в гуманитарной сфере и практически отсутствующие в сфере естественных наук, оказались – именно в силу присутствия субъективного фактора – превосходной лазейкой для всевозможных профанаций.

Так, если в математике специальный жаргон был изобретен для краткости и легкости общения при обсуждении сугубо математических объектов, и служит для прояснения смысла, то в литературоведении искусственно созданный непроницаемый язык часто кажется продуктом некоего комплекса неполноценности перед естественными науками, и не проясняет, а лишь замутняет суть вещей. Тот факт, что известная насмешническая попытка протащить наукообразную бессмыслицу под видом серьезной научной статьи увенчалась успехом,¹⁷ свидетельствует как раз о том, что король действительно голый. Доказанная теорема в математике не подлежит сомнению – ибо утверждение либо доказано, либо опровергнуто. В литературоведении же почти любой тезис остается спорным, остается вопросом субъективного мнения, ибо, в отличие от той же математики, это игра заведомо без твердых правил – как в приведенной выше цитате из Карабчиевского: «любое высказанное в ней [филологии] положение может быть заменено на противоположное с той же мерой надежности и достоверности».

В результате в лазейки нестрогости, завуалированные псевдонаучным жаргоном, хлынули широкие массы приспособленцев, с энтузиазмом подхвативших «совершенно невразумительный язык для выражения самых убогих мыслей».¹⁸ России, приученной к идеологическому лицемерию, оказалось несложным вписаться в этот тренд. Постмодернистская подмена смыслов, философия

¹⁵ См. об этом Ольга Седакова, «Сергей Сергеевич Аверинцев. Апология рационального», *Континент*, No 135, 2008. См. <<http://magazines.russ.ru/continent/2008/135/se24.html>> (03.05.2015).

¹⁶ См. Johann Wolfgang von Goethe, *Maximen und Reflexionen*, ed. Max Hecker, Weimar, 1907, No 608, p. 132.

¹⁷ Речь идет о нашумевшем розыгрыше, осуществленном физиком Аланом Сокалом, нарочно написавшим наукообразную статью-муляж, которую без проблем принял к публикации серьезный гуманитарный научный журнал.

¹⁸ Цветков, «Империя лжи». Объектом резкой критики здесь являются целые философские школы, связанные с именами Хайдеггера, Деррида, Блума, Мишеля Фуко (см., например, программную работу последнего «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук»; перевод на русский язык: Виктор Визгин, Наталия Автономова, Москва: «Прогресс», 1977), равно как и ряда других известных мыслителей 20-го века, получивших широкое признание в кругах представителей гуманитарных наук.

«прикола», ерничанье и сарказм как легитимный уход от настоящей жизни, от страдания и ответственности, создали благодатную почву как для обесценивания самой литературы, так и для создания клана посвященных, рассуждающих о ней на птичьем языке, и надежно защищенных при этом шлагбаумом цеховой политкорректности.

Что делать в этих условиях людям, стремящимся изучать литературу вне навязанных извне правил псевдонаучности, находясь на ничейной земле между верой и знанием? Каковы перспективы противоборства этих двух начал? Покажет время. Хотя проблема представляется неразрешимой. А может быть, и надуманной. Ибо дело, похоже, не в «жанре», а в качестве. Тем более, что позднейший возврат литературоведения к биографизму, к цивилизационному подходу и прочие уступки «субъективизму», по-видимому, намекают на то, что круг замкнулся.

Думается, что в борьбе «эссеистов» с приверженцами «научного подхода» не будет ни побежденных, ни победителей. Ибо очевидно, что напряжение этих полюсов непреложно. Как верно и то, что это как раз тот случай, когда в мире идей не должно быть тесно. Коль скоро это действительно идеи; коль скоро метод не затмевает сути; коль скоро происходит приращение смысла. Если же игра идёт по принципу «ни уму, ни сердцу», ибо колода краплёная и Кот Базилио подмигивает Лисе Алисе, то в проигрыше оказываемся мы все.